
Эрик ШМИТКЕ

КОГДА Я ОТВЕРНУЛСЯ (АНЖЕЛА И АНДЖЕЛО)

Рассказ

1.

Мы с любимой снова бродим по Люнебургу. Она подарила мне этот город. Она умеет делать такие подарки.

...Я ждал ее на вокзале в Гамбурге. Приехал почти на час раньше, побоялся пробок. И, по советской привычке, сразу поперся на вокзал, чтобы *уже быть на месте*. Занять местечко заранее и ждать, это в крови — знание, что тому, кто приходит *ко времени*, уже ничего не достается.

В Германии на вокзалах, как правило, нет залов ожидания. В лучшем случае несколько скамеек на три-четыре сиденья, чтобы можно было присесть на пару минут по мелкой необходимости. На Hamburg Hbf нет и этого. Только внизу, на платформах, где, непрерывно сменяя друг друга, прибывают и отправляются поезда, те же несколько скамеек для недолгого ожидания. Но на платформах всегда вонючий сквозняк и железный грохот на пределе переносимости. Хватает свободных мест в бесчисленных заведениях фаст-фуда. Но там не присядешь, нужно что-нибудь заказать. Целый час жевать жареную сосиску, запивая ее пережженным кофе, я бы не протянул. А взять вторую — просто бы не сдюжил.

Медленным шагом, внимательно рассматривая витрины, я двигался от одной забегаловки к другой — целых восемь минут... В книжной лавке перебирал газеты, покурил возле того входа на вокзал, который смотрит на *чистую* сторону. Отсюда, перейдя дорогу, попадаешь в кварталы шикарных торговых центров, банков и — чуть дальше — в центр, на ратушную площадь, к Эльбе с лебедями и туристами.

У этого входа всегда малоллюдно. У противоположного, где я покурил в следующий раз, куда оживленнее. Тут всегда тесная беспокойная толпа. Здесь царство вокзальных подонков. Здесь грязь и вонь. Вообще-то это главный вход. Выйдя чрез него, несомый толпой, быстро попадаешь на заваленную мусором, бомжами и проститутками Steindamm, где среди прилепившихся друг к другу громкоголосых африкано-азиатских лавчонок и забегаловок редко встретишь европейское лицо.

Потом в самом здании вокзала долго выбирал цветы для любимой. Так долго, что даже немецкая продавщица стала косить на меня взглядом... Короче, я был зол.

На себя, конечно. Мог бы посидеть в машине, почитать или послушать музыку. А теперь возвращаться на парковку... так времени хватит только, чтобы дойти до машины, развернуться и двинуть обратно. Да и то — быстрым шагом.

Эрик Шмитке родился в 1957 году в Сибири, с 1965-го по 1980 год жил в Казахстане, в Целинограде (сейчас Астана), где окончил филфак местного пединститута. С 1980-го по 2015 год — Ленинград—Санкт-Петербург—Сосновый Бор. Сейчас — Бавария.

Когда до прибытия поезда из Аугсбурга, куда любимая возила свою ученицу на баварский конкурс молодых пианистов (наконец-то минутная стрелка все же доползла!), оставалась еще добрая четверть часа, я спустился на платформу.

С плотным шипением подкатил серебристый ICE. Я перевернул букет белых хризантем цветами вверх. Злость мгновенно рассосалась в радости. Зная неистребимую неспособность любимой быть в толпе, я и не шарил глазами по людскому потоку, хлынувшему из узких вагонов. Просто отошел в сторонку и ждал, когда увижу на почти опустевшем перроне мое хрупкое божество. Она будет стоять рядом со своим зеленым чемоданчиком. Не глядя по сторонам, не высматривая. Зная, что я уже сорвался с места, почти вскачь несусь к ней. Разве только — вытянула на максимум — для меня — ручку чемодана.

...Но ее не было!

Ее вообще нигде не было, я оббегал весь вокзал. Вот тут я психанул. Я злился на нее. И за то, что, как идиот, болтался целый час по этому долбаному вокзалу, тоже. С извращенным наслаждением я обозвал любимую самым последним словом, которое могло бы ей подойти: «...! У тебя же есть телефон! Твой чертов „Handy“». Я решил, что сам ей звонить не буду. Потом, через пару часов, уже из отеля, позвонил:

— Ты где?

— Я в Люнебурге, — своим тихим голосом ответила она. — Приезжай скорее. Ты сейчас обязательно должен здесь быть.

И я поехал.

Она ждала на вокзале. Нетерпеливо ухватила меня за локоть:

— Пойдем скорее!

Мы забрали ее чемоданчик из камеры хранения и пошли в город. Как только перешли мост, в начале первой же городской улочки, я понял, почему любимая вышла из поезда здесь.

Так бывает в большом старинном парке. Где напрочь забываешь, что все вокруг создано людьми, так естественно эти дорожки, фонтаны, скамейки вписаны в жизнь природы. И даже шум проезжающих за оградой — совсем рядом — автомобилей, проходя сквозь воздух парка, слышен, но совершенно не слышим. Душа ощущает лишь тихий шорох листвы, птичьи голоса и завораживающий звук падающей воды в фонтане. Там — самый громкий звук.

В Люнебурге, в этих неспешно росших веками улицах, не замечаешь толпы туристов, разноязыкую речь, все то, что так раздражает даже в Венеции... Что приходится преодолевать в Петергофе или в Кёльнском соборе. В Люнебурге слышишь лишь тихий шорох времени и видишь завораживающие истории, которые каждый дом, мимо которого проходишь, рассказывает тебе одному. Потому что ты внутри этой истории...

— Я сидела в поезде у окна, — рассказала потом, уже в отеле, немного успокоившись, любимая, — Слушала концерт для скрипки, Баха, a-moll, Andante, вторую часть. Ну ты же понимаешь, что я просто должна была здесь выйти... Когда вдруг увидела эти шпили над деревьями. А потом, когда остановились уже у платформы, объявили (я даже не поняла, когда сняла наушники, понимаешь?) — Люнебург. И что наш поезд будет ждать десять минут какой-то опаздывающий. Понимаешь?.. Здесь он учился, Бах, когда ему четырнадцать лет было. В двух школах сразу. Два года. Здесь в монастыре Святого Михаила он уроки брал у Георга Бёма. Понимаешь! Это же — *знак!*

— Понимаю, конечно, — ровным голосом ответил я. Я хорошо знаю ее *знаки*... И она не ошибается.

Хотя каждый раз непременно ворчу про себя, что в ее поведении нет никакой логики. Когда любимая вдруг остановилась посреди улицы и с горьким детским

сожалением сказала: «Ну, это же не то сейчас... Пока ты ехал, уже вечер! Надо, чтобы ты *это* увидел, когда ярко светит солнце. Мы остаемся на ночь! Пойдем в отель», я занудел:

— Отель я снял в Гамбурге. Поехали. Ну, давай завтра специально сюда вернемся...

— Нет. Я же еще ничего не увидела. — Она почти весь день бродила тут! — Завтра с самого утра, как только солнце поднимется, сразу пойдем...

— Да откуда ты знаешь, что завтра будет солнце? Вдруг будет дождливый день.

— А вот и отель, — точно не услышав ни одного моего слова, показала она на поворотню с надписью «Vremener Hof» между тесно стоящими домами и, не оглядываясь, пошла. Я, грохоча по булыжнику ее чемоданом, двинул за ней в низкую глубокую каменную арку, мимо еще открытых старинных кованых ворот.

И в этом отеле мы сразу получили свободный номер. В пятницу. В забитом туристами Люнебурге. В самом центре.

На следующий день мы вышли из отеля с самого утра, а вернулись за вещами, когда уже начало смеркаться. С тех пор каждый год в июле мы с любимой приезжаем сюда на несколько дней. Как сейчас.

...Ночью мы ссорились. Почти до утра. Завтрак проспали. Проснувшись, долго и бурно мирились. Когда голод все же вытащил нас из постели, было уже около трех пополудни. Глухое время, чтобы хорошо поесть. Работают только Bäckerei да легкие кафешки. Рестораны и кафе с горячим меню откроются после пяти. Чтобы не перебить аппетит и — заодно — обмануть голод, идем бродить по любимым местам.

Сегодня любимая хочет аутентичную местную кухню. Поэтому маршрут от гостиницы сначала вверх мимо Святого Николая к старой Ратушной площади, потом, забирая влево, вниз к набережной. И там — в «Das Kleine Cafe», где подают чудесную кровяную колбасу.

Медленно бредем, взявшись за руки, выписывая какие-то круги и зигзаги, сворачивая во все боковые улочки; то и дело останавливаемся перед тем или иным домом, чтобы тихо рассмотреть наивные чудеса купеческой архитектуры. В Люнебурге можно побывать тысячу раз, но каждый раз путь в десять минут занимает здесь часы, тем более когда нужно растянуть время.

Медленно выходим с Katzenstraße на оживленную An der Münze. Сначала тихо, потом все громче, музыка и пение. Что-то классическое, знакомое. Дуэт. Сопрано и тенор. Понятно, суббота — у немцев это принято — представление для публики, в выходной семьями вышедшей прогуляться.

Я смотрю на любимую. Она уже вытянула шею навстречу музыке, прикрыла глаза.

— Будем художественную самодеятельность слушать, — злю ее.

— Да ну тебя! — злится она. И быстро шагает, не оглядываясь на меня. Исчезает за углом Waagestraße. Я за ней вприпрыжку.

Выходим на старую площадь вместе. Навесы из середины Marktplatz уже убраны, но по периметру палатки со съестным торгуют вовсю. В центре площади большой белый микроавтобус, из которого тянутся шнуры. Микроавтобус как задник сцены. Перед ним певцы. Поют под минусовку. Слушателей довольно много. И действительно, поют хорошо. Любимая решительно протискивается сквозь толпу. Я за ней. Теперь могу хорошо разглядеть певцов.

Он — оливково-смуглый, толстенький, кругленький, с большой лысиной, обрамленной длинными, до плеч, вьющимися черными с проседью волосами. В черном бархатном костюме, из которого довольно далеко выпирает брюшко, туго обтянутое белой рубашкой, на шее бархатный же широкий бант. Поет с закрытыми глазами, держит микрофон на длинном шнуре двумя руками.

Она тоже в черном бархатном платье. Стоит спокойно перед микрофоном на стойке, смотрит прямо. Прямые белые волосы. Чистая, ровная, чуть тронутая косметикой кожа худощавого костистого лица, лучистые зеленые глаза. Годы и бархат платья делают фигуру женственно округлой, сексуальной...

Закончили арию. Раздаются плотные аплодисменты. Он подает ей руку ладонью вверх, она вкладывает в его ладонь свою. Кланяются, точно на сцене знаменитого театра, торжественно и значительно.

Когда аплодисменты стихают, он говорит по-немецки, с заметным акцентом, но правильно:

— И заканчивая наше сегодняшнее выступление, мы от всего сердца дарим вам нашу любимую «Застольную» из «Травиаты» божественного Джузеппе Верди.

Он, включив музыку, поворачивается к ней. Она, тоже, вынув микрофон из стойки, поворачивается к нему. Они смотрят только друг на друга. И она начинает:

Tra voi, tra voi saprei dividere
Il tempo mio giocondo...

Толпа замирает зачарованно. Я смотрю на любимую. Любимая вскидывает голову, разворачивает плечи, возмущена:

— Халтурят? Почему она начинает номер? Почему с середины? Но...

Tutto e follia nel mondo
Cioe che non e piacer.

...Любимая закрывает глаза, слушает, шевеля губами...

Певцы мощно, сливаясь голосами заканчивают:

Oh, il gentil pensier! tutti accettiamo
Usciamo dunque
Ohime!

Они замолкают. Зрители тоже несколько мгновений молчат. Потом — аплодисменты, долгие, плотнее, чем прежде. Артисты снова кланяются. Любимая хлопает в ладоши изо всех сил, в глазах радость.

— Анжела и Анджело, — заявляю я ей.

Она сначала не понимает. Я повторяю еще значительно, точно тайну открываю:

— Анжела и Анджело.

Она смотрит на меня, как на идиота. Кивает головой на белый микроавтобус. На борту которого в обрамлении летучих нот надпись большими буквами: «ANGELA & ANGELO: Musica senza confini».

2.

19 ноября 1993 года меня уволили из милиции. Вернее, уволили на пару дней позже, но за *должностное преступление*, которое я совершил в тот день. Пробыл я милиционером почти два года. Когда в НИИ, где я к тому времени уже почти десять лет подвизался в младших научных сотрудниках, напрочь перестали платить зарплату, приятель устроил меня в линейный отдел. Узнав, что в армии я служил в комендантской роте, мне сразу присвоили звание сержанта. Я был рад.

...Утром на разводе нам раздали ориентировку на гражданина Италии господин Вератти. Этот товарищ, как нам рассказал капитан Шестопалов, был членом какой-то благотворительной делегации, которая приехала в Питер с гуманитарной помощью и все такое. И вот уже неделя как он пропал.

— Всем проявлять особую бдительность. Международный скандал нам не нужен, — серьезно заявил Шестопалов.

В другой день я бы, наверное, рассмеялся. С фотографии на ориентировке смотрела реально бомжовская запитая рожа, с которой трудно было совместить «международный скандал». И рожа эта — один в один — была похожа на похмельную физиономию нашего капитана.

После развода кто-то из мужиков показал газету, которую накануне подобрал в электричке. Там как раз про этого члена *иностранной делегации* на первой странице: «Пропал итальянский бомж-бизнесмен». Оказывается, итальянский алкоголик, состоявший под присмотром благотворительной миссии, напросился волонтером в делегацию, которая повезла гуманитарную помощь в Россию. Но, *как стало редакции известно из достоверных источников*, этот алкаш решил еще и сделать бизнес. Он привез с собой в Россию чемодан барахла, которое набрал бесплатно в той же миссии, чтобы здесь продать аборигенам.

С этим самым чемоданом я его и увидел. Вернее, сначала именно — чемодан.

— Глянь-ка только! — обернулся ко мне Власов, мой напарник, когда мы вошли в тамбур.

Этот чемодан сразу бросался в глаза. В сером, пошарпаном вагоне, где несколько оставшихся не заколоченными фанерой окон с трудом пропускали свет цвета жидкой грязи, гигантских размеров пластмассовый сундук блестел яркими радужными красками. А вот хозяина чемодана сразу было и не заметить. Он ничем не отличался от остальных пассажиров: помятый, замызганный... Разве что только огромным фиолетовым бланшем, который густо расплылся у него сразу под обоими глазами.

— Так это же наш клиент, — воскликнул Власов. — Пошли, палку срубим...

— Подожди, — придержал я его за рукав. — До Рамбова минут десять, никуда не денется.

Мне стало интересно.

Как только вагон тронулся, итальянец раскрыл свой чемодан, вытащил ком ярких тряпок, прижал локтем к боку и пошел по проходу. Остановился возле тетки, вытянул оранжевые трусики и стал трясти у той перед лицом, что-то горячо говоря. Она сидела, как статуя. Итальянец вытащил лифчик, потом какие-то штанишки леопардовой расцветки... Не дождавшись реакции, обернулся к противоположной скамье. Суровый мужик в камуфляжном ватнике, увидев перед своим носом это фирменное великолепие, стал медленно подниматься.

— Пошли, — сказал я. — А не то клиента нести сейчас придется.

Увидев нас, коробейник заулыбался во весь рот, обнаружив отсутствие переднего зуба, ухватил меня двумя пальцами за лацкан и быстро-быстро залопотал, тыча пальцем в мужика. Я ударил его по руке, схватил за шиворот и потащил в конец вагона. От него воняло давно не мытым телом и перегаром. Итальянец заверещал еще громче. Понять можно было только одно слово — *bandito*. Это идиотское мультяшное слово привело меня в бешенство. Я перетянул его дубинкой вдоль спины, и он заткнулся. Народ в вагоне дружно не смотрел в нашу сторону. Только одна типично ленинградская старушка поднялась со своего места и, глядя чистыми глазками из-под фетрового берета, сказала ледяным тоном:

— Не смейте бить человека!

Я швырнул человека на скамейку, с которой она встала:

— Вот, забирайте, пусть с вами сидит, караульте его. Он — преступник в розыске. А я рядом постою.

Старушка испугалась, я это увидел, но светлые глаза под беретиком твердо смотрели на меня. Она гневно повторила:

— Он — человек, — и опустилась на скамейку.

Там сидела еще одна такая же — в беретике, но помоложе. Она подвинулась к окну, итальянец оказался между ними. Он плакал, но барахло свое крепко держал под мышкой.

Ко мне подскочил Власов:

— Чего ты... так? Давай я его покараулю, а ты дальше иди...

— Иди сам, — ответил я ему так, что он просто молча поставил радужный чемодан возле меня и пошел в следующий вагон.

Полудохлый полдень немного высветил окно электрички. И мутная грязь на треснувшем почти до половины окне стала еще заметнее. В день рождения любимой, когда сосущая тоска, которую я как-то за тринадцать лет научился затыкать в глубине души, вырвалась-таки... Если бы не в наряд, не надо было бы сдерживать свою ненависть к себе и ко всему миру, валялся бы дома и выл, завидуя тем, кому Бог дал счастье заглушать боль водкой.

...Обе интеллигентные дамы, точно и не чувствуя эту бомжовскую вонь, пытались разговаривать с итальянцем. Они говорили ему сначала про Петербург и Расстрелли с Трезини. Потом, не дождавшись реакции (итальянец только лупил на них глаза и шмыгал носом), про Микеланджело, Боттичелли... Добрались даже до Гарибальди. Но только услышав имя Верди, итальянец оживился и радостно залопотал:

— Oh! Verdi! Ho cantato in teatro, nel teatro!

Белая вспышка гнева ослепила меня. Мне было наплевать на этих прозрачных ленинградских старушек, мне давно на все было наплевать. Когда любимая ушла навсегда, я слушал ее пластинки. Ставил одну за другой на проигрыватель, пил водку, мучительно понимая, что не могу опьянеть, и слушал. Прослушав, ломал неподатливый винил через колено. Последней была «Травиата». Кулаки сжались, я уже было сделал шаг к этому вонючему бомжу...

И в этот миг дверь тамбура, на которую я опирался спиной, резко распахнулась, и я всем весом рухнул назад. Меня подхватила Анжела. И удержала.

— Извините, Петр, — испуганно произнесла она, когда я, справившись с равновесием, резко вырвал свой рукав из ее кулачка. — Я не посмотрела... — и продолжила, когда я отодвинулся, пропуская ее в вагон: — Вагоны полупустые, мест сидячих свободных много... Я не подумала... Ящик этот.

Я не слушал, что она лопочет мне в спину. От нее снова несло резким запахом дешевого одеколona. Снова напилась накануне.

...Анжела была алкоголичка. Бомжихой ее назвать было еще нельзя, она жила в общежитии бывшего ПТУ, куда комендант селил сейчас за копейки всякую сволочь. Еще она работала. Анжела всякий раз подчеркивала это, что она не такая, как эти. Подчеркивала резко, на грани смертельной обиды. Подчеркивала в каждой мелочи.

Когда мы с ней разговорились впервые, Анжела вставляла в разговор слово работа в самых разных вариантах, куда надо и не надо. А однажды, когда я подобрал ее пьяную возле платформы и, совершенно не держась на ногах, потащил ее в сторону вокзала, напрямик — через заросли акации, Анжела, точно вмиг протрезвев, накинулась на меня с кулаками. Она не кричала, шипела: *Я не даю кому попасть по кустам! У меня есть СВОЯ постель!..* И тут же беспомощно повисла на мне.

Она мучительно стыдилась своего алкоголизма. Потому и обливалась одеколоном на следующий день после пьянки. Хотя, если не пила несколько дней, от нее пахло туалетным мылом и свежевыстиранной одеждой. И ее прямые волосы, уже довольно жидковатые, выкрашены были до самых корней всегда. Было ей лет тридцать-тридцать пять, наверное... Возраст алкоголички трудно определить. Костлявое лицо с высокими скулами, острый нос, запавшие бесцветные глаза, морщины вокруг глаз и у носа, нечистая, землистого оттенка кожа — можно дать и все пятьдесят. И тело — кожа да кости, плоская грудь и болтающиеся джинсы там, где должен быть зад. Но я, хоть и не спрашивал, конечно, чувствовал в ней ровесницу. Или это так влиял на меня ее голос. Красивый грудной голос...

Ангела продавала по электричкам мороженое и лимонад. От Ораниенбаума до Питера и обратно. Мы с ней пересекались по несколько раз на дню. Сначала просто проходили мимо друг друга, потом стали здороваться. Но впервые поговорили месяца через два. Она стояла со своим ящиком на Балтийском вокзале в тени газетного киоска, ждала, когда подадут электричку. Я с удивлением увидел, что в ушах у нее наушники, в руках плеер, вещь по тому времени довольно редкая и дорогая... Ангела стояла, закрыв глаза, губы ее беззвучно шевелились.

Я встал рядом, закурил. Она открыла глаза, посмотрела на меня и раздраженно отвернулась. Потом, в вагоне, я подошел к ней и сказал:

— Извини, что помешал.

Она посмотрела на меня с прежним раздражением:

— Ничего.

И потащила свой ящик дальше.

Это было еще в первой половине дня. А незадолго до конца смены, когда мне оставался последний на этот день маршрут, я снова увидел ее там же, за киоском, в наушниках. Я поздно ее заметил, чтобы повернуть в другую сторону. Наши взгляды встретились. И Ангела вынула наушники из ушей, сунула плеер в сумку. Я разозлился на нее. И на себя, что обращаю на всю эту ерунду какое-то внимание.

А она сказала мне:

— Привет.

— Привет, — ответил я и остановился возле нее.

Мы познакомились. Она отказалась от предложенной сигареты (подчеркнуто: «Я не курю»). И с тех пор, удивляя меня, она называла меня только Петром. Хотя я по привычке назвался Петей.

На маршруте я успевал перекинуться с ней только парой слов, но когда выпадало время между маршрутами и случалось, что Ангела тоже была на вокзале, сидели с ней на скамейку и разговаривали. С Анжелой было о чем поговорить. И я понял, как мне этого не хватало — просто по-человечески поговорить. Дома не с кем, а на работе — не о чем. С ней было о чем. О книгах, о живописи, о природе... Только о классической музыке мы с ней не говорили. Хотя она в самом начале по ходу разговора сделала несколько очень точных, оригинальных замечаний о Шуберте и Брамсе, вряд ли почерпнутых из учебного курса. Но тут же, точно почувствовав, как я напрягся, заговорила о другом.

Да о чем бы ни говорили, хоть про самые простые, бытовые вещи, ее интеллигентная речь, интонации, акценты так по душе были мне... Ангела была оперная певица. И родители ее были музыканты. Она окончила консерваторию в Саратове и по распределению поехала в Саранский оперный театр. Как она оказалась в Санкт-Петербурге, почему так сложилась ее жизнь здесь, Ангела не рассказывала. И я был благодарен ей за это. Мне не хотелось услышать от нее еще одну придуманную жалобливую историю, какие так любят сочинять бомжи, алкаши и проститутки.

...Она поставила свой ящик в проходе вагона и негромко, как только она это умела, но так, что каждое ее слово было отчетливо слышно даже в противоположном конце вагона, точно не дребезжал разбитый вагон, не стучали на стыках колеса, не висел внутри плотный гомон пассажиров, начала свой заученный текст:

— Мороженое! В брикетах и вафельных стаканчиках. Сливочное и ягодное. Шоколадное. Классический настоящий ленинградский пломбир. Брикетки и рожки в оригинальной упаковке по европейской технологии. Шоколадные, ванильные, фруктовые глазированные сырки. Охлажденные напитки. Минеральная вода. Лимонады завода имени Степана Разина и Польша. Пепси. Кока-кола. Спрайт. Швепс...

Летом ее товар расходился быстро. Сейчас желающих освежиться было мало. Лица, поднявшиеся навстречу ее голосу, быстро гасли одно за другим. Только мордастый мужик в шляпе махал рукой в середине вагона, подзывая Анжелу. Она подошла к нему. Он взял пестрый брикет, протянул купюру. Анжела принялась отсчитывать сдачу. И тут мужик вдруг громко, с укоризной в голосе, обращаясь ни к кому и ко всем, сказал:

— Дает же Бог непопадая кому такой голос! Ей бы в опере петь, а она по вагонам таскается, лимонад продает...

И тут Анжела вскинулась. Выронила мелочь. Выпрямилась. Глаза ее горели. Дрожащими губами бросила мужику в лицо:

— Я в опере пела. Я сольные партии пела!

Мужик громко рассмеялся. В разных концах вагона тоже засмеялись, кто так же громко, кто потише. Пассажиры в предвкушении нечаянного развлечения повернули головы в сторону начинающегося *скандала*. Мужик вспыхнул и даже привстал:

— Бутылки ты возле оперы собирала...

Анжела резко выпрямилась, бледное лицо ее совсем побелело, губы гневно сжались. Мелочь раскатилась по лужам на полу. Я ясно видел, что Анжела сейчас ударит его. Но она вдруг запела:

Tra voi, tra voi saprei dividere
Il tempo mio giocondo;
Tutto e follia nel mondo
Cioe che non e piacer...

В вагоне стало точно светлее. Очарованные этим светом серые помятые люди замерли, забыв обо всем, чем были полны или опустошены за мгновение до этого. Столько человеческих лиц сразу я давно уже не видел. Я смотрел на Анжелу, как будто вернулся в счастье. Она действительно пела великолепно. Любимая научила меня чувствовать и понимать классический вокал. И она бы оценила, как поет Анжела в этом убогом вагоне.

А у Анжелы по лицу катились слезы. Не допев строфу, губы ее задрожали, и я с испугом понял, что сейчас она замолчит.

И вдруг арию подхватил глубокий, хорошо поставленный тенор:

Godiam la tazza, la tazza e il cantico
La notte abbella e il riso;
In questo paradiso
Ne scopra il nuovo di'.

Взгляд Анжелы устремился в конец вагона, откуда зазвучал этот голос, туда же развернулись все лица. И голос Анжелы вновь окреп, зазвучал еще полнее, чувственнее. Она, забыв про свой ящик, медленно двинулась навстречу неожиданному партнеру:

La vita e nel tripudio...

И он — этот самый итальянский полупьяный бомж с бланшем под глазом — так же медленно шел ей навстречу. Он протянул Анжеле руку ладонью вверх, она вложила в его ладонь свою. И дуэт твердо, уверенно, чувственно закончил арию:

Godiam la tazza e il cantico
La notte abbellà e il riso;
In questo paradiso
Ne scopra il nuovo di'.
Che e cioe?
Non gradireste ora le danze?
Oh, il gentil pensier! tutti accettiamo
Usciamo dunque
Ohime!

Сначала в вагоне стояла изумленная тишина. Потом кто-то робко, негромко захлопал. И на артистов обрушился шквал благодарных аплодисментов. Поднялся шум, крики «браво!» смешались с искренним, от всего сердца идущим русским матом... А эти двое кланялись, точно на сцене самого большого театра, и даже не улыбались. Они только смотрели друг на друга. И медленно, не разнимая рук, шли по тесному проходу к выходу из вагона.

Когда они проходили мимо меня, я отвернулся.

...Вернулся Власов, сообщить, что через машиниста передал «в контору», что мы задержали итальянца. Я сказал ему, что напишу в рапорте, что только по моей вине задержанный сбежал. Благодарный Власов помог мне оттащить в линейный пункт ящик Анжелы и радужный чемодан Анджело. Так его звали, было напечатано в газете.